

ДМИТРИЙ КОЛЕСНИЧЕНКО

НЕПРОСТЫЕ ДЕТИ

2026

Дмитрий Колесниченко

Непростые дети

«Автор»

2026

Колесниченко Д.

Непростые дети / Д. Колесниченко — «Автор», 2026

Когда ваш ребёнок знает, о чем думает другой человек, или рассказывает о прошлом по вещи - это пугает. Можно назвать это совпадением, интуицией, шестым чувством или чудом. Некоторые называют это жизнью, потому что для них это не исключение из правил, это и есть правило: видеть то, чего не видит никто, слышать то, что не произносят вслух. Таких людей немного и они живут среди нас. Эта книга о двух девочках, которые родились с даром, который не выбирают, и об отце, который знал их ещё до встречи.

© Колесниченко Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

НЕПРОСТЫЕ ДЕТИ	5
Пролог	6
Глава 1. Хабаровский рейс	8
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Непростые дети

НЕПРОСТЫЕ ДЕТИ

Одни семьи скрывают долги. Другие – измены. Голубевы хранят нечто, для чего нет подходящего слова в обычном разговоре.

Дмитрий Голубев *знает*. Не догадывается, не предполагает, просто знает: кто лжёт, когда опасно, чем кончится дело. Это не интуиция адвоката, это что-то другое, старше и глубже. Жена Катя годами принимала это за характер, и всё было бы ничего, пока в их доме не появились две дочери и тишина в квартире не стала другой. Не пустой, а *наполненной*.

Старшая видит то, чего нет на поверхности: прошлое предметов через касание, фигуры в углах комнат, которые не двигаются, но смотрят. Младшая слышит мысли как радио без кнопки выключения, от шёпота до крика в зависимости от того, как сильно человек переживает. Вместе они система: одна видит, другая слышит, и у них есть ночной язык жестов, совместные тренировки и молчаливый уговор: *всё, что внутри, остаётся внутри*.

Семья строит крепость из правил, контроля, чёрного юмора и любви, которая не объясняет, а просто держит. Крепость выдерживает криминальный Тольятти, дефолт и переезд в Москву, которая хранит восемьсот лет истории в каждой своей стене и не всё из этого хочет молчать.

Но за стенами крепости *уже смотрят*. Методично, без спешки, с убеждённой людей, которые давно поняли: такие, как Голубевы, существуют. И считают это *ресурсом*.

© Дмитрий Колесниченко, 2026

Пролог

«Есть вещи, которые мы знаем задолго до того, как сможем их объяснить». – Авессалом Подводный.

Есть вещи, которые вы знаете наверняка. Вы знаете, что Земля вращается вокруг Солнца, что вода кипит при ста градусах, что после зимы приходит весна (каждый раз, без исключений, с упорством часового механизма). Это обычные, школьные, проверяемые знания, которые можно доказать, записать, передать другому. От них не болит голова и не потеют ладони.

А есть *другое* знание.

Когда вы стоите на кухне, наливая чай, и вдруг (без причины, без предупреждения, без единого логического основания) *знаете*, что сегодня позвонит человек, о котором не вспоминали десять лет. И он звонит через два часа, и голос у него такой, будто эти десять лет были просто затянувшимися выходными.

Или вы выходите из дома и сворачиваете налево, хотя всю жизнь ходили направо (и не можете объяснить почему), а вечером узнаете, что на правой дороге обрушились строительные леса ровно в то время, когда вы обычно там проходите.

Или ваш ребёнок смотрит на вас за завтраком и говорит: «Мама, не грусти, всё будет хорошо», а вы ещё не успели загрустить, только подумали об этом, только начали, и он уже знает.

Большинство людей называют это совпадением. Интуицией. Шестым чувством (словосочетанием, которое ничего не объясняет, но всех успокаивает). Некоторые называют это чудом.

А некоторые (очень немногие) называют это жизнью. Потому что для них это не исключение из правил, а само правило: каждый день, каждый час, каждую секунду знать то, чего знать не можешь, видеть то, чего не видит никто, слышать то, что не произносят вслух.

Вот как это выглядит на кухне девяти утра: Дима ставит чашку на стол, и в этот момент Таня за стеной говорит (не ему, не маме, ни для кого) «он не виноват». Дима знает, о чём она. Катя не знает, но встаёт, чтобы поставить чайник, потому что в их квартире это означает: я здесь, я держу, всё в порядке. За стеной Тая смотрит в окно и видит что-то, чего в окне нет, и никто этого не комментирует, потому что в этой семье некоторые вещи не нуждаются в словах.

Таких людей немного, и точной цифры никто не знает по понятным причинам. Они не объединяются в профсоюзы, не создают тематических клубов и не вешают на дверь табличку «Здесь живёт ясновидящий. Приём по записи. Обед с 13 до 14». Они живут среди вас тихо, незаметно, за задёрнутыми шторами и выстроенными стенами: рядом с вами в метро, за соседним столом в кафе, на родительском собрании (третий ряд, справа, блокнот в руках, улыбается). Они молчат, потому что давно усвоили: люди боятся того, чего не понимают, а когда боятся, злятся.

Эта книга о тех, кто молчит. О семье, в которой молчание не трусость, а форма любви. О двух девочках, которые родились с даром, который не выбирают, и об отце, который знал их ещё до встречи. О матери, у которой нет никакого дара, кроме одного (самого важного): быть рядом. О городе, который пахнет бензином и железом, о девятиностях, которые пахнут страхом и надеждой, о двухтысячных, которые пахнут переменами, и о кухне, которая пахнет борщом всегда, потому что некоторые вещи неизменны, даже когда меняется всё остальное.

Это не история о сверхспособностях. Сверхспособности здесь декорации, стены, на которых висят настоящие картины: доверие и тайна, страх и смех, потеря и прощение, выбор и его цена.

Это история о том, каково это быть другим в семье, где все другие, в мире, где «другой» означает «опасный». И о том, что дверь детской не нужно закрывать до конца. Всегда оставляйте щель для света.

*Если вы когда-нибудь знали что-то, чего знать не могли, эта книга для вас.
Если не знали, тоже. Потому что, возможно, вы просто ещё не заметили.*

Глава 1. Хабаровский рейс

«Мы встречаем людей не случайно – они появляются в нашей жизни, чтобы дать нам урок, помочь нам расти или стать частью нашей истории»– Лао-цзы



Чайник выключился с тихим щелчком, тем особенным звуком, который в пустой кухне после полуночи звучит как выстрел стартового пистолета. Катя вздрогнула, хотя сама же его и ставила, сама нажимала кнопку, сама ждала этого щелчка, но руки, перебиравшие документы на столе, жили уже отдельной жизнью, и чайник к этой жизни не относился.

За окном стоял конец января: не нарядный, открыточный, с искристым снегом и румяными щеками, а тольяттинский, рабочий. Минус двадцать пять, сизая мгла и оранжевое зарево заводских огней над горизонтом, которое зимой видно особенно отчётливо, потому что темнеет в четыре, а светает бог знает когда. Зарево подсвечивало низкие облака снизу, и небо над Автозаводским районом выглядело так, будто его подкрасили йодом – тревожно, но привычно, как подсветка в операционной, к которой хирурги давно перестали присматриваться.

Кухня была маленькой: шесть с половиной квадратных метра типовой планировки, в которой помещались стол, два стула, холодильник «Бирюса» и кое-какие надежды на будущее. На столе, между солонкой и сахарницей с отколотой ручкой, лежали документы из хабаровского детского дома номер три: характеристики, медицинские карты, справки и две фотографии. Фотографии были чёрно-белые, казённые, с тем особым выражением лица, которое появляется у людей перед объективом государственного фотоаппарата, будь им два года или пятьдесят. Но даже через зернистую бумагу, даже сквозь эту типовую оцепенелость было видно: старшая смотрит в объектив так, словно знает, кто будет разглядывать этот снимок через месяц. Смотрит не в камеру, а дальше, сквозь камеру.

Катя сидела, обхватив кружку с остывшим чаем обеими ладонями, потому что рукам нужно было что-то держать, иначе они продолжают перебирать документы в четвёртый раз, а четвёртый раз ничего нового не покажет. За рёбрами что-то физически острее тревоги, как будто там, внутри, держали дверь, за которой что-то огромное давило с той стороны. Пальцы онемели от того, как крепко она сжимала фарфор – белые костяшки, ноющие суставы, – но отпустить не могла. Если отпустить кружку, придётся признать, что руки дрожат. А если руки дрожат, значит, она боится. А если она боится, то какая из неё мать?

– Дима, это Хабаровск, – сказала она, обращаясь к его спине. – Девять часов лёта. Мы их не видели ни разу. Мы даже не знаем...

Она не договорила, потому что не знала, чем закончить фразу. Не знаем что? Какие они? Знали: в документах всё было расписано по месяцам, по граммам, по навыкам. Справимся ли? Знали и это: оба юристы, обоим нет тридцати, квартира есть, работа есть, характеристики с места работы отличные.

Любим ли уже?

Вот это Катя и боялась произнести вслух. Слова застряли где-то между горлом и языком – комом, который нельзя было ни проглотить, ни выплюнуть. Можно ли полюбить детей по фотографии? По медицинской карте? По строчке в характеристике: «Развитие соответствует возрасту»? Она привыкла задавать вопросы только тогда, когда была готова к любому ответу. Но к этому ответу – не была. Потому что если ответ «нет», то кто она такая, чтобы лететь за ними? А если «да» – то как она посмела полюбить чужих детей раньше, чем увидела их живыми?

Дима стоял у окна спиной к ней, заложив руки в карманы домашних брюк. Он не смотрел на оранжевое зарево, скорее, стоял с ним рядом, как с молчаливым собеседником, который всё понимает и ничего не требует. Он молчал не так, как молчат, когда думают, а так, как молчат, когда уже всё решили и ждут, пока решение дойдёт до остальных, как свет далёкой звезды: неторопливо, но неизбежно.

Знание пришло три недели назад, когда он впервые увидел эти фотографии. Не озарение, не вспышка, не голос свыше, ничего из тех штампов, что показывают в фильмах про ясновидцев. Просто тихая, абсолютная уверенность, заполнившая его целиком: эти дети его. Не биологически, не юридически (хотя юридически он это устроит), а глубже.

– Я знаю, что это правильно, – сказал он, не поворачиваясь.

– Откуда? – Катя спросила это тихо, почти устало, как человек, который задаёт один и тот же вопрос не первый год и каждый раз получает ответ, который ничего не объясняет, но почему-то успокаивает.

Дима, не торопясь, обернулся. Прислонился к подоконнику и смотрел на неё спокойно, чуть склонив голову набок.

– Одна птичка нашептала.

Катя смотрела на него долго, иногда переводя взгляд на отражение его лица в тёмном стекле, размытое и нечёткое, будто он и оттуда, из отражения, не хотел выдавать лишнего. Чай

в кружке давно остыл, но она всё равно отпила глоток – горький, с привкусом того особенного разочарования, которое испытывает забытый чай.

– Ладно, – сказала она наконец, – но если ты сейчас опять скажешь «я знаю», я тебя, наверное, стукну.

Дима наконец повернулся. Улыбнулся одними глазами, едва заметным изменением морщинок у висков, как всегда. Кто не знал его, мог принять эту скупость за холодность, но Катя знала: за этой улыбкой стоит больше, чем за любыми объятиями. Он так улыбался, только когда был уверен.

– Скорее, отругаешь, – сказал он и, прежде чем она успела возразить, пересёк кухню и сел на второй стул, напротив. Положил руки на стол открыто, ладонями вверх. – Я серьёзно, Катя.

– Я тоже. – Она не отвела взгляда, пальцы крепче сжали кружку. – И всё равно летим?

– Всё равно. – Он взял её кружку, поставил в сторону, накрыл её руки своими. – Это наш рейс.

– Мне от этого почему-то не легче.

– Мне тоже. – Он помолчал секунду, большим пальцем провёл по её ладони. – От того, что мы останемся, легче точно не станет.

Катя вздохнула долго, через нос, как перед прыжком в холодную воду.

– Ты ужасный человек.

– Нет, просто упрямый. – Он пожал её пальцы и отпустил. – Ненавидишь моё «всё равно», знаю. Но оно работает.

Рейс задержат, знал он с той же неоспоримой ясностью. На два часа. Обледенение на полосе, утренний туман в Курумоче, самолёт будет стоять, пока его не обработают.

Катя поставила кружку на стол, встала и начала собирать документы обратно в папку: аккуратно, по порядку, подровняв края, как всегда. Её способ бороться с неизвестностью – упорядочить то, что поддаётся упорядочиванию, и надеяться, что остальное подстроится.

Фотография старшей девочки легла сверху. Серьёзные глаза, чуть нахмуренные брови, и этот взгляд, направленный не в камеру, а куда-то за неё, мимо фотографа, мимо стены, мимо января.

Катя задержала на ней пальцы одну секунду, две, и почувствовала что-то острее и сложнее, чем нежность или страх: как будто девочка на фотографии уже смотрела на неё, уже знала, уже ждала.

Катя закрыла папку и пошла спать.

За окном оранжевое зарево мерно пульсировало, как сердцебиение города, который никогда не засыпал до конца.

* * *

Шесть утра, то время, когда ни одно место на земле не выглядит гостеприимным, но аэровокзалы ухитряются выглядеть особенно негостеприимно. Курумоч не был исключением: бетонная коробка, в которой зимой стоял холод хуже уличного, потому что бетон копил мороз с каким-то мстительным упорством.

Очередь на регистрацию вилась через зал длинной сонной змеей в ватных куртках и пуховиках. Пахло мокрой шерстью, нагретым чемоданным дерматином и буфетным кофе, который здесь варили из чего-то лишь отдалённо и, возможно, случайно связанного с кофейными зёрнами: цвет правильный, температура обжигаящая, а вкус – на совести повара, который, видимо, давно её обременял. Под потолком гудели лампы дневного света, подмигивая и потрескивая, как будто вели между собой морзянку, и в этом неровном свете лица людей казались чуть зеленоватыми.

Катя нервничала молча, по-своему, так, как умела только она: раскрыла сумку, проверила наличие паспортов, закрыла сумку, застегнула молнию, расстегнула молнию, снова проверила паспорта, снова закрыла.

Дима на табло, где белыми буквами по чёрному было выложено: «Рейс 2614. Хабаровск. Регистрация».

Он почувствовал это ровно, без нажима: *самолёт задержат*. Не предчувствие, не предположение на основе погоды за окном. *Знание*: чистое, прохладное, завершённое. *Самолёт задержат на два часа*, и это столь же бесспорно, как то, что сейчас январь.

– Пойду в буфет, – сказал он Кате, – возьму пирожки.

– Ты бы хоть вид сделал, что сомневаешься, – отозвалась Катя, не поднимая глаз от сумки.

– Не получится. – Он поставил чемодан ей за спину, чтобы она не беспокоилась об очереди. – Пирожок будешь?

– Если ты прав, буду считать это личным оскорблением.

– Считай. – Он уже шёл к стойке.

Катя осталась стоять в очереди, глядя ему в спину (в его спокойную, ненапряжённую спину), и поймала себя на том, что даже не сомневается. Вот это раздражало больше всего: не его странная уверенность, а её собственная готовность ей довериться, безотчётная, как рефлекс. Он каждый раз бросал ей мяч, и она каждый раз ловила, не потому, что хотела, а потому что руки делали это сами.

Четыре минуты спустя табло мигнуло. Буквы перестроились, и выложилось новое: «Рейс 2614. Задержка вылета на два часа».

Катя закрыла глаза, досчитала до трёх и открыла.

Дима вернулся с двумя пирожками с капустой на картонной тарелочке и стаканом того напитка, который в буфете аэропорта продавали под видом кофе: горячего и коричневого, и на этом его сходство с кофе заканчивалось.

– Пирожок? – предложил он с совершенно невинным лицом, на котором не было ни тени торжества, ни тени извинения, просто лицо мужа, принёсшего жене пирожок в аэропорту.

Катя взяла пирожок, откусила. Капуста внутри была слишком горячей, обожгла нёбо, и это было хорошо, потому что простая, понятная, бытовая боль от горячей начинки отвлекала от непростых, непонятных, небытовых вопросов.

– Когда-нибудь, – сказала она, прожевав, – ты мне объяснишь.

– Обязательно, – ответил Дима.

Они стояли рядом в очереди, которая больше никуда не двигалась, ели тёплые пирожки с капустой, и оба знали, что «когда-нибудь» это не сегодня. Возможно, не завтра. Возможно (он знал, она догадывалась) это «когда-нибудь» растянется на годы, потому что есть вещи, которые нельзя объяснить одним разговором, как нельзя одним предложением пересказать книгу, в которой ещё даже не все главы написаны.

* * *

Ту-154 набрал высоту с тем особенным натужным гулом, который был свойственен этим самолётам: не рёв и не рокот, а низкое упрямое гудение, словно огромный шмель прокладывал себе путь сквозь январский воздух. За иллюминатором тянулась серая вата облаков, плотная и рыхлая одновременно, и иногда сквозь неё прорывалось ослепительно-белое солнце на секунду, на полсекунды, как будто кто-то наверху то включал, то выключал прожектор, проверяя, работает ли.

Катя заснула почти сразу: организм сделал то, что положено делать организму после бессонной ночи и двух недель тревожных сборов, отключился без спроса и переговоров. Во сне она хмурилась (привычка, которую Дима за шесть лет изучил досконально: чем глубже Катя

спала, тем сильнее хмурилась, словно и во сне проверяла документы), и он осторожно поправил ей воротник куртки, чтобы не давил на шею.

Потом откинулся в кресле и достал из внутреннего кармана фотографии. Рассматривал их долго, внимательно, как рассматривают карту местности перед дальней дорогой.

Старшая, рыжеватая, с серьёзными глазами. На фотографии она стояла у окна, чуть поодаль от других детей, и смотрела не в камеру, а мимо фотографа, словно видела что-то за его спиной. Взгляд взрослый, сосредоточенный, с той особенной внимательностью, которая бывает у тех, кто привык замечать больше, чем остальные. Таисия.

Младшая, темноволосая, с быстрыми глазами. Сидела на полу с деревянным кубиком в руке, но смотрела не на кубик и не на фотографа, а чуть в сторону, будто прислушивалась к чему-то, чего не слышал больше никто в комнате. Татьяна.

Дима убрал фотографии обратно. Знание внутри было тихим, но абсолютным: эти дети его. И они не такие, как все остальные.

Облака за иллюминатором расступились ненадолго, на несколько вздохов, и внизу открылась тайга: бескрайняя, тёмно-зелёная, по-зимнему суровая, присыпанная снегом, как седьмой. Она тянулась во все стороны без городов, без дорог, без признаков того, что человечество вообще существует, и от этого пространства у Димы каждый раз возникало ощущение масштаба, перед которым любые человеческие планы выглядят трогательно, как бумажные кораблики на океанской волне. Где-то там, впереди, на самом краю этого пространства, стоял город Хабаровск, и в нём казённое здание, и в нём две девочки, которые ещё не знали, что их жизнь уже сейчас меняется, как меняется русло реки: не от одного события, а от множества мелких сдвигов, которые однажды суммируются и уводят поток в новое направление.

Хотя – поправил он себя – старшая, возможно, знала. Этот взгляд на фотографии...

Дима закрыл глаза. Внутри было тихо: правильная, собранная, рабочая тишина, как в зале суда за секунду до оглашения приговора, который знаешь заранее.

* * *



Хабаровский детский дом номер три стоял на окраине: двухэтажное здание из бежевого кирпича, построенное, судя по всему, в семидесятые, когда архитектурная мысль в этих широтах вращалась вокруг одного критерия – чтобы не рухнуло. По этому критерию здание вполне справлялось, а по всем остальным промахивалось с упорством, достойным лучшего применения. Забор вокруг территории когда-то был покрашен в зелёный, но сейчас достиг того состояния, которое в языке красок можно было бы назвать «цветом усталости» – серо-бурого, облупившегося, с проплешинами ржавчины в тех местах, где металл устал притворяться, что ему не всё равно. Крыльцо обледенело, и ступеньки были присыпаны песком с солью – экономно, двумя горстями на пять ступеней, как будто и соль тоже выдавали по талонам.

На двери объявление, напечатанное на машинке и прикреплённое кнопками: «Посещение по записи. Администрация».

Внутри пахло так, как пахнет в каждом государственном учреждении от Калининграда до Владивостока: хлоркой, перловой кашей и чем-то неуловимым, но безошибочно узнаваемым – казёнщиной, линолеумом, терпеливостью людей, которые ходят по одним и тем же коридорам годами и давно перестали замечать, что стены крашены масляной краской болезненно-салатного цвета. Половицы под линолеумом поскрипывали, и от каждого шага звук разносился по

коридору, уменьшаясь и эхом возвращаясь обратно, словно здание прислушивалось к посетителям.

Директор (Алевтина Георгиевна, женщина лет пятидесяти с крупными руками, добрым лицом и глазами, в которых доброта мирно уживалась с жёсткостью, как две соседки в коммунальной квартире) листала папки привычными движениями, не глядя на страницы. Она видела десятки таких пар: нервная жена, решительный муж, надежда, умноженная на страх и делённая на неизвестность. Видела, как они приходили – полные решимости, – и как уходили: иногда с детьми, иногда без, иногда возвращались через полгода с совсем другими глазами.

– Обе девочки здоровы, развитие соответствует возрасту, к семейной форме адаптированы, – говорила она ровным голосом человека, повторяющего формулу в тысячный раз. – Старшая – Таисия, три года и пять месяцев. Младшая – Татьяна, два года и четыре месяца. Мать скончалась от заболевания, отец не установлен. Близких родственников не выявлено.

Катя кивала, записывала что-то в блокнот мелким почерком, сокращениями: юридический автопилот работал безотказно – фиксируй, фиксируй, потом разберёшь. Рука двигалась уверенно, а где-то внутри, за рёбрами, мелко дрожала та нервная струна, которую невозможно было успокоить записями.

Дима не слушал. Точнее, слышал, как слышишь фоновый шум: слова директора регистрировались где-то на периферии, а всё его внимание было сосредоточено на стеклянной двери в конце коридора, за которой угадывалась большая комната (игровая). Через мутное стекло были видны очертания: потёртые ковры, горы разнокалиберных игрушек, мелкие фигурки детей. Кто-то строил из кубиков, кто-то рисовал, кто-то сидел на полу, раскачиваясь с той мерной монотонностью, которая выдавала не игру, а привычку.

И он увидел её сразу, как видят маяк на тёмном берегу: не потому, что ищешь, а потому что он светит.

Тая стояла у окна, чуть поодаль от остальных, в вязаном сером свитере, который был ей велик на два размера и сползал с одного плеча. Она не играла, она смотрела прямо на него, через стеклянную дверь, через коридор, через двадцать метров линолеума, хлорки и казённого воздуха. Трёхлетний ребёнок не может так смотреть, с этой спокойной точностью, с этим *узнаванием* в глазах, как будто она ждала именно этого дня, именно этого часа, именно этого человека за стеклянной дверью.

Но она смотрела. И Дима почувствовал, как знание внутри него отозвалось ровно, мощно, бесшумно, как камертон, который нашёл свою ноту.

* * *

Когда их впустили в игровую, Тая не побежала, она *шла*. Степенно, с ровной спиной, обходя разбросанные по ковру кубики и машинки с той аккуратной уверенностью, с какой ходят люди, давно знающие, куда направляются. Другие дети отвлеклись на взрослых (чужих, новых, пахнущих улицей и морозом) и потянулись к ним, как тянутся все детдомовские дети к любому, кто приходит извне: с надеждой, опаской и безотчётной жадностью до внимания. Одна девочка лет четырёх обхватила Катину ногу и не отпускала; мальчик постарше крутился рядом с Димой, показывая пластмассовый грузовик без колеса. Тая шла сквозь этот привычный хаос, не сворачивая и не замедляясь: чужой шум к ней не относился.

Остановилась перед Димой и задрала голову, чтобы посмотреть ему в лицо снизу вверх, серьёзными серо-голубыми глазами, в которых не было ни испуга, ни того цепкого, голодного детского любопытства, которое он видел в глазах остальных. Было что-то другое, то, для чего у него не нашлось готового слова, но знание подсказало точное: *узнавание*. Не «я тебя помню» (она не могла его помнить), скорее: «Я тебя знала. Не лицо, не имя, а тебя целиком, как идею, как обещание, которое наконец исполнилось».

– Здравствуй, – сказал Дима, и голос прозвучал не так, как он хотел – с лёгким надломом на последнем слоге, как будто что-то внутри качнулось и не вернулось на место.

Тая не моргнула, только чуть ближе подошла к Диме.

– Как тебя зовут?

– Тая.

– А я Дима.

– Я тебя знаю. – Она по-прежнему смотрела прямо, и в этом взгляде было столько спокойной уверенности, что у Димы что-то сжалось в горле. Трёхлетний ребёнок не может так смотреть. Не должен. – Ты всегда так прямо смотришь?

– Только когда мне надо запомнить человека.

После этого она молчала уже иначе, не пусто, а сосредоточенно, как человек, который решил всё сказать одним взглядом.

Потом протянула руку и взяла его за ладонь.

Маленькие пальцы – цепкие, холодные, как у кого-то, кто долго ждал на морозе – обхватили его ладонь, и Дима почувствовал, как что-то внутри него ломается. Не больно. Наоборот – как ломается лёд на реке весной, когда под ним уже бежит вода, и это не разрушение, а освобождение. Он всю жизнь знал наперёд: где лежит документ, кто что скажет, какой поезд опоздает. Знал, но не *чувствовал*. А сейчас – впервые за тридцать лет – не знал, что сказать, и чувствовал всё: тепло её ладони, которая согревалась в его руке; тяжесть ответственности, которая легла на плечи, как чужое пальто, в которое ещё нужно врать; и ещё что-то огромное, для чего у него не было слова, но знание подсказывало: *любовь*. Не та, что приходит постепенно, а та, что обрушивается сразу, как обвал, и уже не важно, готов ты или нет.

Так держат не чужого человека, а что-то давно потерянное и наконец найденное.

Дима присел на корточки, чтобы оказаться с ней на одном уровне, и она посмотрела ему в глаза близко, внимательно, с тем сосредоточенным вниманием, с каким изучают лицо на портрете, и не отвела взгляда, не смутилась.

Где-то позади них директор Алевтина Георгиевна рассказывала Кате о распорядке дня, о кормлении, о прогулках в крытом дворе (потому что зимой выводят только до минус пятнадцати, а сегодня двадцать два). Мир продолжал работать по своим правилам: дети шумели, трубы отопления потрескивали, лампа под потолком моргала через равные промежутки, отмеряя время, которое тут, в игровой, казалось густым и неповоротливым.

А Дима стоял на коленях на потёртом ковре, держа за руку трёхлетнюю девочку, которая смотрела на него так, словно хотела сказать одну-единственную фразу: *Наконец-то. Я ждала*.

Он хотел сказать что-то правильное, взрослое, успокаивающее – то, что говорят приёмные родители при первой встрече. Хотел сказать: «Всё будет хорошо» или «Не бойся» или «Мы заберём тебя домой». Но слова не шли. Горло сжалось, как будто кто-то невидимый сдавил его ладонью, и Дима вдруг понял, что если сейчас заговорит, голос его предаст – дрогнет, сломается, выдаст то, что он тридцать лет прятал за спокойствием и знанием наперёд.

Он впервые за много лет не знал, что ответить. Знание молчало, и это молчание было красноречивее любых слов. Он просто сжал её ладонь – осторожно, как держат что-то бесконечно хрупкое и бесконечно важное, – и кивнул. Один раз. Как обещание, которое не нуждается в словах.

Тая поняла. Он видел это по тому, как её лицо чуть смягчилось, как напряжение ушло из плеч. Она поняла то, что он не смог сказать: *Я пришёл. Я здесь. Я больше не уйду*.

* * *

Таню Катя нашла в углу игровой комнаты: на маленьком ковре, бледно-голубом и потёртом до основы в нескольких местах, с набором деревянных кубиков, на которых кое-где ещё

сохранились наклейки с буквами. Девочка строила башню методично, с аккуратностью, неожиданной для двухлетки, ставя кубик на кубик и каждый раз отнимая руки медленно, осторожно, как будто проверяя, устоит ли конструкция без её поддержки. Башня была высокой (неправдоподобно высокой для такого возраста): семь кубиков, и каждый стоял ровно, без перекоса, с какой-то инженерной безупречностью, которую нельзя было объяснить ни навыком, ни удачей.

Катя подошла и села рядом на корточки. Она умела обращаться с маленькими детьми не понаслышке: младшая сестра, двоюродные племянники, педиатрическое отделение, где она подрабатывала юристом на третьем курсе и много общалась с детьми и их родителями. Она знала главное правило: не нависать, не сюсюкать, оказаться на одном уровне, как равная, как человек, который пришёл не учить и не спасать, а познакомиться.

– Привет, я Катя.

– Я знаю.

– Правда?

Таня подняла голову. У неё были тёмные волосы того каштанового оттенка, который в детдомовском свете казался почти чёрным, но когда из-за облаков пробивался луч и косо ложился через окно на ковёр, вспыхивал медовым. Глаза двигались быстро (быстрее, чем следовало, быстрее, чем бывает у детей этого возраста): они не просто смотрели на Катю, а сканировали её, перемещаясь от лица к рукам, от рук к сумке, от сумки обратно к лицу, словно считывая информацию, которая транслировалась на частоте, недоступной обычному зрению.

Таня смотрела на Катю долго: три секунды, пять, семь. По меркам двухлетнего ребёнка вечность. Она молчала, и в этом молчании не было настороженности, а было что-то похожее на прислушивание, как будто Катя, сама того не зная, говорила что-то важное не голосом, а чем-то другим, и Таня это другое слышала.

Потом произнесла тихо, чисто, с отчётливостью, которая была бы удивительна и для трёхлетки, не говоря уже о двух годах:

– Ты пахнешь как дом.

– Как что? – Катя моргнула, не сразу поняв, что именно её поразило больше: сам ответ или то, с какой будничной уверенностью он был сказан.

– Как дом. Тепло. – Таня помолчала секунду, не отводя взгляда. – Пойдём играть?

– Пойдём, – ответила Катя, хотя слова застали её врасплох – не смыслом, а точностью: двухлетний ребёнок, который никогда не жил в доме, не имел дома, знал о домах только казённые стены и казённые запахи – сказал ей, что она пахнет как дом. Что-то ухнуло в груди – тупым, тяжёлым ударом.

Чем пахла Катя? Остатками «Дзинтарс Интриги», которую ей подарили на Восьмое марта и которая уже почти выдохлась; стиральным порошком «Лотос»; чуть-чуть пирожком с капустой из аэропортового буфета; и ещё собой, своим запахом, который, как всякий собственный запах, не замечаешь и не можешь описать. Ничего *домашнего*: ни ванили, ни выпечки, ни тех уютных ароматов, которые ассоциируются с домом на открытках.

– Что... что ты имеешь в виду, солнышко?

Но Таня уже отвернулась и поставила восьмой кубик на башню, и он встал ровно, как по отвесу. Разговор был окончен с той будничной завершённостью, с которой закрывают прочитанную книгу: всё, что нужно было сказать, сказано, продолжение не требуется.

Катя медленно выпрямилась. Колени затекли (она не заметила, сколько просидела на корточках), и от этого простого, физического ощущения онемевших мышц ей стало чуть легче, потому что тело по-прежнему принадлежало понятному миру, где колени затекают от неудобной позы, а чай остывает, если его не пить.

Она посмотрела через комнату на Диму. Он всё ещё стоял с Таей, которая по-прежнему держала его за руку и, кажется, не собиралась отпускать в обозримом будущем. Их глаза встретились через потёртые ковры, через шум детских голосов, через расстояние между их углами

комнаты, и Катя увидела в его лице покой: простой, тихий, какой-то выдохнутый покой человека, который наконец оказался там, где ему положено быть, и может перестать искать.

Это выражение испугало её больше, чем двухлетка, знающая слово «дом».

* * *

Кабинет инспектора по опеке находился в конце коридора на втором этаже и, судя по всему, исполнял роль не только кабинета, но и склада, архива, а в обеденное время столовой: между папками на подоконнике стояла электрическая плитка с закопчённым чайником, и в воздухе висел неистребимый запах растворимого кофе, перемешанный с запахом старой бумаги, тем кисловатым, пыльным ароматом, который сопровождает все без исключения кабинеты, где документы живут дольше, чем люди, которые их подписывали.

Инспектор (маленький, лысеющий мужчина лет сорока пяти, с печатью хронической усталости на лице и галстуком, завязанным так, будто галстук смирился со своей участью, но не одобрял её) сидел за столом и тянул время. Не из вредности и не из корысти, а из инерции, из встроенного в систему рефлекса, который срабатывал автоматически: любой процесс можно замедлить, любой документ можно переоформить, любое решение можно отложить до завтра, потому что завтра это ещё один день, в котором ничего не нужно решать окончательно.

– Вот тут, знаете, есть нюанс с межрегиональной подведомственностью, – говорил он, перекладывая бумаги из одной стопки в другую с видом человека, совершающего важную работу. – Нужно дополнительное заключение, форма двадцать четыре «а», и ещё, я извиняюсь, вопрос по медицинскому допуску принимающей стороны...

Катя, сидевшая в углу на стуле с продавленным сиденьем, готова была спорить (она знала законодательство, знала процедуру, знала, что половина того, что говорил инспектор, было чистой бюрократической самодеятельностью), но Дима чуть тронул её за локоть: *подожди*.

Он сел напротив инспектора спокойно, без спешки, положив руки на стол, и выдержал паузу. Секунда, две, три. Пауза растянулась, и в ней не было ни угрозы, ни давления, просто тишина, но такая, от которой инспектор начал ёрзать на стуле: не от страха, а от смутного ощущения, что его только что рассмотрели насквозь, со всеми формами и нюансами, включая те, которые он только собирался придумать.

Потом Дима заговорил тихо, без нажима, с какой-то геометрической ясностью, в которой каждое слово стояло на своём месте, как кирпич в кладке:

– Форма двадцать четыре «а» не требуется в случаях, когда принимающая сторона предоставляет заключение о жилищных условиях, выданное по месту постоянной регистрации, которое у нас оформлено. Медицинский допуск входит в стандартный пакет и был подан вместе с основным заявлением – он у вас в правой стопке, третья папка сверху. Межрегиональная подведомственность регулируется инструкцией от восьмидесят седьмого года, пункт шесть, где прямо указано, что при наличии полного пакета срок рассмотрения – четырнадцать рабочих дней, из которых осталось три. Подпись нужна ваша и начальника отдела, который сегодня на месте до шестнадцати часов – у него потом совещание в горисполкоме.

Инспектор моргнул. Потом медленно, с выражением человека, который обнаружил, что за шахматной доской сидит не любитель, а гроссмейстер, потянулся к правой стопке, отсчитал три папки сверху, открыл третью и обнаружил медицинский допуск именно там, где сказал этот молодой человек с негромким голосом и спокойными глазами.

– Я... да. Хорошо. Сейчас подготовлю.

Катя наблюдала эту сцену из своего угла, забыв про блокнот. Ручка застыла в руке, не касаясь бумаги. Она видела Диму в суде, видела, как он одним вопросом разворачивал показания свидетеля, как одной фразой менял настроение зала, как его коллеги крутили головами, пытаясь понять, откуда он знает: откуда он всегда, каждый раз, с нечеловеческой точностью

знает, какие слова сказать, какую паузу выдержать, в какой папке лежит нужный документ. Коллеги называли это интуицией, талантом, адвокатским чутьём. Катя шесть лет соглашалась с ними, потому что альтернатива была из области, куда юридическое образование дороги не прокладывало.

Сейчас, в этом кабинете, пропахшем растворимым кофе и бюрократическим терпением, альтернатива стала очевидной. Он *знал*. Не вычислил, не просчитал, не подготовился, он *знал*: где лежит документ, которого не видел; расписание начальника, с которым не встречался; точную формулировку инструкции, которую не перечитывал.

У неё вдруг похолодели руки, не от окна, не от сквозняка, а изнутри, как будто кровь на секунду замедлилась и вспомнила о чём-то, о чём ей не следовало вспоминать в рабочем кабинете хабаровской опеки. Двухлетний ребёнок, который говорит, что она пахнет домом. Трёхлетка, которая ждала. Муж, который знает, где лежит папка в чужом кабинете.

Она сделала мысленную пометку: поговорить с мужем. Серьёзно, без уклончивых улыбок, без отведённых глаз. Поговорить – и дожидаться ответа, даже если ответ будет из той области, куда юридическое образование дороги не прокладывает.

Но это – потом, а сейчас – документы.

Она опустила взгляд на блокнот и заставила себя написать хоть слово. Рука не слушалась первые две секунды, потом успокоилась и вернулась в привычное состояние.

* * *

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.